

Анатолий Маляров

Престижный студент

*Один дурак —
просто дурак, много
дураков — это уже
менталитет.*

Тетя Двойра.

1

Как я оказался в Киеве?

В канун выпускных экзаменов мы с Пашкой Варнаком забываем об уроках. Идет последний помол прошлогодней пшеницы, и мы, обступив жернова, заталкиваем муку в штопаные мешки. В ход идут: обглоданный толкач, скалка, кулаки. Камни стонут от неровно поданного зерна и примолкают. Приземистый, дремотный Пашка выбирает время сказать:

— Получил «Условия приема»...

Я вытягиваюсь над ним и с досадой качаю головой. В последние дни только и думалось, что про наше письмо в Харьков, в театральный институт. А он всю дорогу до мельницы молчал. И

тут уже который мешок откатали вдвоем на пологие доски...

— Ну? — мычу я, припрятывая огорчение.

— Арифметику сдавать не надо.

Укладываем кули в кузов полуторки, приваливаемся к ним спинами и, вдали от глаз родителей, перечитываем плотный, голубого отлива лист, с верхней до нижней строки.

— Языки да история... — Пашка как бы дарит мне облегчение.

— А по специальности, видишь? Читать стишок, басню, прозу. Проза — это «Чуден Днепр при тихой погоде»? — Я чувствую себя наполовину подготовленным к вступительным экзаменам.

— Угу. А этюд — это что? — дружок вздыхает и причмокивает.

— Черт его знает!

— А собеседование?

— Про театр.

Невидимый гнет опускается на наши плечи, хуже штопаных мешков. Утешаю себя:

— В драмкружке «Шельменку» играли, «Наталку»...

— А настоящий театр ты видел?

— А ты?

— Ну вот, а лезешь...

Заманчиво вообразить себя в черном нездешнем костюме с белыми манжетами рядом с

молодкой в раздутом платье на подпорках. Где-то читал, что колокол из шелка на ляжках — это кринолин и фижмы, знал, но произносить стеснялся. Хотелось хоть раз напиться из тонкого стакана, тисненого, на длинной ножке, и не самогона из бурака, из конфет-подушечек или кисельных брикетов, а чего-то шипучего, через край.

— Дак и ты лезешь, — толкаю дружка в бок.

— Я еще подумаю. Батько говорит, в Одессу ближе торбы возить.

Завклубом Нестеров вечером пробегает листок из Харькова своими серыми, с коричневой полоской на правом, глазами и щурится:

— А Райку, значит, по боку?

— Да чего там! — хрипит Паша в ответ.

— В городе увидишь таких, что селяночку забудешь.

Обращается старик ко мне, у меня тоже Райка, но так как дружок огрызается, я уже не встречаю. Про собеседование и туры не говорим: не знает, что сказать, домотканый режиссер Иван Нестеров. Сам выходил из Мариновки только на войну, а игрища с молодежью да стариками на сцене вел по инвалидности. Начальство требовало, Бог подсказывал.

Ленчик Попик в жаркий июльский полдень едет на станцию за семенами, прихватывает нас с

Пашкой. В школьной сумке, в тетрадке, документы, в лопуховых листьях котлеты, фунт коровьего масла, в марлевом цедилке вареная картошка, хлеб — мамин, подовый.

Ленчик постарше, ездовой в отделении совхоза Сметаны, ему и доверяем брать билеты. Он берет на ближайший поезд, чтобы сразу избавиться от обузы. Обнаруживаем накладку на другое утро, когда нас выкуривают из вагона на конечной станции.

— Столица советской Украины Киев!

Не доходит до нас поначалу. Сопровивляемся, пятясь, ступаем на перрон. Озираемся, читаем на гребне вокзала, похожего на Бастилию из учебника: «Киев-пассажирский».

Повыкатывали глаза два припухших со сна разновысоких селянина и стоят.

На плечах одинаковые, в полоску, сорочки, на ногах — припыленные сандалии. У ног сумки с харчами и документами.

— Тютя! — бурчит Пашка.

— Это ты тютя. Ленчик твой родич, а не мой.

Оглядываемся на поезд, раскидываем мозгами:

— Может, Харьков тут, рукой подать?

Приходит мысль посвежее:

— А может, и тут есть этот, как его, театральный?

— Давай спросим.

Долго выбираем, у кого не стыдно спросить. Проходит осанистый, при галстукe, гражданин, по всему видно, занятой начальник, ну его! Шаг-другой делаю за кружевной дамочкой около носильщика с тележкой. Паша уже справляется у нищего. Тот морщится:

— Я думал, ты подашь, а ты дознаешься...

На Крещатике, через дорогу от Крытого рынка, в плотном ряду разномастных зданий — высокий желтый четырехэтажный корпус. «Государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого». На чугунной плите наварено по-русски и по-украински. Широкая каменная лестница пуста, на этажах — ни души. Не нужен тут никто, что ли? Высокая белая дверь с табличкой, написанной от руки: «Приемная комиссия, т. Николаенко». Мандраж в ногах, не лучше ли вернуться? Дружок уже за дверью.

Белесый, тонкокожий толстячок раскрывает нашу тетрадь, читает мои бумаги. Вежливо говорит, отводя в сторону голову:

— Приезжайте к первому августа. Поселим в общежитие. Выдержите конкурс — зачислим. Вы человек мыслящий, вижу из того, как вы написали автобиографию, особенно про эвакуацию...

Пока Николаенко говорит все такое, Пашка забирает свою часть документов и сует за пазуху.

— Вы что? — вскидывает брови толстячок и улыбается, как младенцу. — Испугались, что ли?

— Да так, передумал. Одесса ближе.

— В Одессе нет театрального.

— Ну и что?

Немытый подросток из глуши пренебрегает элитарным высшим учебным заведением в столице. Это озадачивает секретаря приемной комиссии и косвенно срывает на меня. Белая жирная рука накрывает мои бумаги. И внимание только мне:

— Ждем вас первого августа в этих стенах.

Три недели спустя я один приезжаю и поселяюсь в общежитие. У Голосеевского леса доживает свой век еврейская синагога. По решению партии и правительства иудеи добровольно отказались молиться своему Иегове и здание определили под жилье для будущих народных артистов, а также театроведов и режиссеров, людей изысканного вкуса, стойкой культуры и морали, как любит повторять комендант общежития Галина Трофимовна.

В деревянном предбаннике четырнадцать сосков умывальника. Кому в утренней толчее не хватает, может черпать прямо из металлического сточного корытца. Далее — кухня с газовыми печками. Мне удалось, когда никого не было, включить-выключить, понюхать, зажечь и погасить эту диковинную машину. Три побитых тупыми

ножами столешницы, колки на рыжих, дряблых стенах для кастрюль и сковородок. Через тамбур — огромная зала, размежеванная брезентовыми перегородками. Тридцать семь коек — мужская комната. Из темного коридорчика десять ступенек ведет в жилище девушек на восемь человек. Под лестницей комната комендантши и ее очаровательного, четвертого, мужа.

Во дворе, перед соседней трехэтажкой, двухстворчатый туалет на гнилых бревнах, которые воняют почище того, что прикрывают. Ближе — зеленая и чистая травка, на свободе — белая козочка, ручная и избалованная студентами до того, что куценьким рожком вымогает подачку и зло блеет.

За воротами, под стенами слепленных в один ряд домиков, тянется рынок. Рядом с помидорами по пятнадцать копеек кило вдруг — бананы по два рубля! Давали пробовать — чужие на вкус, хуже переспелой тыквы. Возвышаются бочки с разбухшими от времени огурцами и бьющей, разящей в ноздри капустой.

Степенный красавец с актерского факультета Мартон эдак мастито, поставленным голосом здоровается с бабкой-лавочницей в замызганом брезентовом фартуке. Жестом из трагедии протыкает мизинцем огурец и на возможно низком регистре спрашивает:

— Ма-маша! А почему это гнилье?

У старухи беленеют глаза, изо рта порхает пена:

— А шоб твоя путь погибла! Де ж тут гнилье?! Босяк! Сталинский ты бандит!

На вождя еще молятся, понятие «сталинский» относится к площади и рынку, потому бабушку ночью не забирают.

Большой и толстый Миша Крамарь с расхрыстаной грудью и торчащими сквозь рубашку на оплечьях волосами утешает торговку тем, что достает из ее кадки огурец покрупнее, в два прихвата челюстями сжевывает его, по-свойски берется за второй и...

— Хватит, сынок, хватит, — отходчиво понижает голос бабушка, ценя вкус этого не избалованного харчами хуторянина, чудом затесавшегося в растравленную свору артистов.

И правда, как очутился Мишка Крамарь в театральном институте? На актерском факультете, где держали экзамены уже игравшие на подмостках и в кино, где перед первым туром было триста пятьдесят человек на двадцать мест?

Рассказывают:

На хуторе Крамары девять хат, и в каждой хате обитает семья по фамилии Крамарь. Другой фамилии не придумали или обручались меж собой, кто знает? Крайняя, под стрехой и с подушкой в

окне, — школа-четырёхлетка. Миша закончил ее в голодный год. Папа-мама рассудили здраво: коль их первенец вдвое дородней любого сверстника, ходит босиком по снегу и не кашляет, значит, он хлопец умный, ему можно идти через балку и дубравку в Зачепиловку, в пятый класс. Ходил-ходил парень зимой через межи в школу, летом на бойню с бычками, пока не закончил десятый. Получил аттестат, сложил его вдвое, сунул в задний карман брюк и исчез. Родители ждали, потом искали по ближним селам, потом дали цыгану Ригорко червонец, тот в базарный день в райцентре поднял шапку на палке и причитал на три голоса:

— Гей, люди добрые! А чи не встречал кто хлопчика такого немалого? Отзывается на кличку Миша. Рубь дам, кто скажет, што видел!

Никто не подходил за рублем. Свои поискали, поплакали и смирились, как подобает православным.

Месяц спустя от коровника заметили: с пригорка босиком по проселку топают знакомым манером — понурившись и одновременно выбрасывая вперед то левые руку и ногу, то правые, — приближается Миша. Кинули подойники, побежали всем хутором встречать.

— Дитя наше! А поблек, с вида спал! Где же тебя носило?

— Где носило, где носило! — смирно пророкотал парень. — Ходил аж до Киева, в институт поступать.

— Наших еще там не бывало! В институт! И поступил?

— Поступил, только не в тот, шо надо.

— Куда же ты хотел?

— Хотел у витинарный, так там физика, химика. Поставили на первом экзамене «однёрку» и сказали: иди, хлопец, откуда пришел.

— А куда же ты попал?

— Та... стыдно сказать...

— Своим не пожалуешься?...

— Та в театральный. Туды всех берут, с улицы хватают...

Я видел, как Мишу Крамаря с улицы хватали. Шел первый тур. Я кое-как прочел стихок, басню, прозу. Распарился, выскочил на Крещатик мороженого пососать, пока мелочь водилась. Следом спустился подышать глава приемной комиссии, народный артист, лауреат, депутат, профессор, знаменитый Юрий Шумский. Я испугался, не заругает ли он меня за то, что простужаюсь мороженым, спрятался за дверью. Рослый, толстый и бледный старик с одышкой, на меня — ноль внимания. Он прикипел глазами к улице Красноармейской и выжидательно улыбается. Оттуда приближается толстяк, всем

похожий на него: щекастый, брюхатый, мохнатый спереди и сзади, глазастый, только молодой. Наконец два живота едва не столкнулись в центре Киева и замерли.

— Молодой человек, вы к нам поступаете? Почему я вас не прослушивал?

— Шо? — от внезапности сгруппировался Миша, даже ногу отставил.

— Вы были на первом туре?

— Какой прослушивал? Какой тур? Дед, ты чего до меня пристал?

— Я хочу с вами поговорить.

— Отойди, богом молю, бо штовхну!

— Я Юрий Шумский.

— Ну и шо, шо ты Шумский? А я — Крамарь, — и Миша двинул себя кулаком в грудь.

Старый мастер совсем влюбляется в эту девственную натуру:

— Зайдемте в свободную аудиторию, поговорим.

— Знаю я Вашу авдыторию. Бабуся говорила: в городе надо сторожить себя. Тут кто худой, того работать заставляют, а кто при теле, того сразу на мыло!

— Остроумно. Весьма остроумно. Однако тут театральный институт. Мы подбираем одаренную молодежь.

— Ну а от меня ты шо хочешь?

Собралась толпа. Подросла Раиса Денисовна, заведующая учебной частью, сухонькая улыбочивая старая дева. В два голоса удалось уговорить забавного парня войти в пустую аудиторию. Я увидел в Крамаре сильного соперника, пожелал ему провалиться и прижался к приоткрытой двери, чтобы видеть, как это случится. Миша на сцене, Шумский в зале.

— Прочтите мне что-нибудь.

— А шо я тебе прочту?

— Ну, вы же школу окончили?

— Аякже! Тут аттестат, — парень гордо хлопнул себя по тазу и погладил задний карман.

— Вот и прочтите что-нибудь из школьной программы.

— Дорогой товариш! Я ходил за тринадцать верст, в Зачепиловку. В дождь и снег. Туда доберешься — тройка тебе обеспечена, знать ничего не надо.

— Ладно... Повторяйте за мной...

Юрий Васильевич натаскивает Крамаря; дает ему свой монолог из давнего спектакля, расставляет акценты, паузы. Тут же идет к преподавателям, принимающим языки, историю.

— Этот казак нужен в институте. Органичный, как пес Бровка. Фактура — только на хуторе встретишь. Я берусь его опекать. Образуем.

...Мне возвращают документы после первого

тура. Сижу истуканом на нижней ступеньке лестницы. Надеялся, парил над собой — и вот, без лишних слов, просто нет в списках, прошедших на второй тур, — забирай бумаги. Не могу возвращаться в Мариновку, засмеют земляки. Артист у Ивана Нестерова, хвастун, первый парубок... И потом — снова толкач и жернова, снова упряжка тощих в арбе, сухой хлеб да картошка «в шинелях».

И никаких белых манжетов, тисненых стаканов. И еще что-то, чего я назвать не умею. Не вернусь, характер — отрезаю один раз, как умираю.

Сутки хожу по картинным, обсаженным молодыми кашганами улицам Киева, сплю в синагоге на полу, койки заняли те, кто прошел на этюды и монологи. Утро для меня не становится мудрее вечера, ничего не придумывается. Готов идти проситься в Университет, вдруг еще не поздно.

К умывальнику проходит мощная фигура, едва протискивается в дверь — это Миша Крамарь. Мне приходит мысль: есть же на свете ангел-спаситель Юрий Шумский! Он видит дальше, может все. Шепотом, чтобы не повадно другим провалившимся обогнать меня, узнаю адрес артиста, на рассвете бреду к нему, пешком через пол-Киева, хватает здравого смысла явиться не раньше девяти, дать умыться старику.

В домашнем кабинете стоит он за кубическим столом из толстого стекла, книги просвечивают в тумбах. Обрюзгший, большой, в махровом халате в бледную полоску. Пить бросил, а хворь уже не покидает сердце.

— Садись, — бурчит вежливо, отчужденно, терпимо и еще как-то досадно.

Я сажусь, тихо и откровенно плачу.

— Я читал ниже своих возможностей... — прикладываю к своей защите словечки, вчера услышанные в общежитии. Подражать я востер.

— Выпил, бывает?

— Не-е пью-ю я...

— Перестань. Чему поможет истерика? Давай-ка лучше пошевелемся. Прочти мне кусочек.

Хватаюсь за стишки, сочиненные мной для стенгазеты, едва ли не единственное мое творение. «Гой ты, Родина наша любезная!»... Слово где-то перехватил ради невиданной рифмы — «полезным я».

Настоящему художнику сцены выдержать такие вирши и такое чтение трудно: мимо его воли на обрюзгом лице возникает брезгливая гримаса. Он кряхтит, выбирается из-за стола, шаркает по ковру.

— Ты читай... не свое.

Мне стыдно поднять глаза. Делаю вид, что рассматриваю кресло, щурюсь на сияющую

столешницу.

— Не отвлекайся. Мебелью полюбишься в другой раз.

Выходит, возможен и другой раз. Оживаю. Читаю старую басню, десять раз слышанную мастером на приемных экзаменах. Получается плохо. Юрий Васильевич с любой строки по памяти натаскивает меня. Вспоминаю, как он работал с Мишей Крамарем, радуюсь, что и за меня взялся. Перехватываю его насыщенные интонации, ловлю обертоны, загораюсь, уже ору... Он снимает трубку.

— Через лестничную площадку со мной живет твой директор Семен Михайлович Ткаченко. Я ему.

Он спрашивает по телефону, помнит ли коллега эдакого длинного, тощего абитуриента. Поднимает на меня выкатывающиеся, воспаленные глаза:

— Как тебя?

— Коля Вилага.

— Вилага. Нет? Я, видимо, выходил. — Пауза, от которой у меня екает в груди и разбегаются мурашки во все конечности. Он в трубку: — Я слушаю его. Ты бы... — Снова молчит, да так красноречиво, что я отворачиваюсь. Он заканчивает в трубку: — Я буду вечером. Угу...

На меня навалилось состояние, знакомое с

дней эвакуации. Мир как бы отделяется от Коли Вилавы, собирается в дома, деревья, ходит по тропинкам людьми, овеивает ветерком, доносится голосами, запахами. В одном сосуде со всем этим обитает и некий длинный, тонкоголосый, бледнолицый Коля. У него как бы обморок, но все вокруг понятно и к месту. Просто он маленькая составная часть некой среды. Может жить в ней, а может исчезнуть. Страшно и любопытно вот так вдруг отстраниться и глядеть на происходящее со стороны. Повлиять ни на что невозможно, а запомнить — да. Не постигаю сути сказанного Шумским, но верю, что этот всеильный дух вежливыми, ничего не значащими намеками дал распоряжение. Не выполнить его на том конце провода не посмеют.

— Вот что, сыне, — вздыхает Юрий Васильевич горестно и говорит по-украински. Потирает жирную грудь под роскошным, в пушинку халатом. — Вот что. Ты иди к десяти в институт и стой на площадке второго этажа. К тебе подойдет Раиса Денисовна. Меня не будет, плохо что-то... — Круглые, и в старости красивые, глаза мастера туманятся, похоже, он уплывает, как только что я уплывал из этого мира. — Тебя позовут, побеседуют. Ткаченко проследит. — Он молчит, ожидает, пока я пойму, что визит окончен. Встает с кряхтением. — Я тебе советую, если не

пройдешь на актерский, не пренебрегай предложениями Раисы Денисовны. Может, иной поворот — большая удача в твоей жизни.

— Спасибо. Я вас не забуду.

— Не сомневаюсь. — Старик не без удовольствия посмеивается хрипло, болезненно, для себя. Наверное, оттого, что вот, на закате дней, когда уже не в силе рокотать басом на подмостках, не выдерживает света софитов на съемочной площадке, даже читает с трудом, — вдруг может устраивать судьбы деревенских хлопцев, таких же искателей счастья, невежественных и голодных, каким был он в начале века — сирота, в заношенной сорочке с заусеницами, в той самой, в которой он родился...

Я пячусь к двери, он идет за мной, вальяжно подает большую налитую руку. Я стыжусь и упускаю случай.

— Дай вам Бог здоровья.

Упоминание Бога приостанавливает старика, делает его взгляд проникающим и прощальным. Он толст, потому издали кажется несколько ниже ростом, но рядом с моими метром восемьдесятью он не ниже.

— Ты знаешь хоть одну молитву?

— Э-э... ум... «Отче наш»...

— Даже если не знаешь ни одной, сходи во Владимирский собор и поговори с Богом своими

словами...

— Я попрошу... я помолюсь за ваше здоровье...

— И за мое, и за свое... и за Украину. — Молчит. Как-то отстраненно, вроде брезгливо берет меня за плечо, не умея прятать обиды, говорит: — Не стесняйся украинского языка. — Поворачивает меня лицом к ступенькам вниз и толкает: — Прощевай!

За спиной в скважине долго копошится ключ, рука не слушается больного. Наконец все стихает, я уже думаю не о нем, а о его соседе через лестничную клетку. Пойду в собор и помолюсь, чтобы доброта Юрия Васильевича перекочевала в ближайшую квартиру, к Ткаченко, и угнездилась в сердце всесильного директора.

Каждое утро и каждый вечер я ходил на бульвар Шевченко, под высоким куполом становился против иконостаса и молился. А в институте меня примеряли к моей будущей судьбе.

Слушают еще раз мое чтение. Бракуют: на актерский не годюсь.

Беседуют и смотрят сцену из «задуманного мною спектакля». Бракуют.

Листают все, что я писал давно и сегодня, еще беседуют. Вздыхают.

Последним вздыхает Семен Ткаченко и — пишет приказ о моем зачислении на первый курс

театроведческого факультета.

Еду на неделю домой. Вру о блестяще выдержанных экзаменах. О неведомом факультете помалкиваю — театральный институт, и все тут, даже в рифму. На людях ликую, наедине хватаюсь за соломинку: я не дочитал до конца даже «Евгения Онегина», даже «Назара Стодолю». Читаю. Я не знаю, на что ориентировать мозги: ведь не видел ни одного профессионального спектакля, не знаком ни с одним артистом, кроме тех, что занимались мной — абитуриентом. Знаю, что на моем курсе подготовленные и развитые горожане. Сын заместителя директора киностудии, хозяин не только мебели, реквизита, костюмов, которые я вижу в украинских кинофильмах, но и всего того, что там пьют, едят. Женя Мокроусов проговаривается, что его папа любимец актрис, пьет за их здоровье с их тувелек... Дочка профессора академии, специально, с пятого класса, занималась историей и теорией драматического театра. Лида Снегур и смотрит на всех свысока, все на «отлично» сдала при поступлении... Тадик Павленко хоть и пасынок, но любимый и единственный в доме знаменитого, старейшего адвоката столицы. Одна комната — сорок квадратных метров, библиотека из полторы тысячи книг...

Самые слабые — Митя Кучерюк, парень из

глубинки, ископаемый хохол, но и он год прозанимался на актерском факультете, просмотрел полсотни спектаклей, побывал на репетициях, знает «за руку» всех молодых артистов города... и тезка мой, Коля Бондарчук, скромный талантливый коротышка с роскошным тенором. Не прошел на актерский только потому, что во младенчестве упал с высокого и правая лопатка вывернута. Есть еще Слава Божик, человек-загадка. Молчальник, аккуратист, во всем западно-украинском: сорочка с тонкой вышивкой, пиджачок с польского плеча, манеры лесоруба. Умен, скрытен. Все, что про него знаем: Слава Божик. Где живет, чем питается, кого любит, кого люто ненавидит — за семью печатями.

Было еще два еврея. Остался один — Аркадий Косинский, высокий мотогонщик, сухощавый, любезный, старше всех и потому нагловатый.

2

Крохотная аудитория на четвертом этаже, подковой расставлены столики — каждый на два студента. Нас пока десять, подозреваю, что подбросили из провалившихся на режиссерский факультет. Напротив — крохотная кафедра. Слева — окно на Крещатик: Крытый рынок, стереокино, перекресток бульвара Шевченко.

Входит седовласая, красивая в свои пятьдесят

лет Вера Евсеевна. Интересно рассказывает о жите-бытье древних греков, об их театре. Дает длиннющий список литературы, обязательный для прочтения. Ни одну из предложенных драм я не умею зацепить умом своим. Пробую увязать мотивы поступков античных царей со здравым смыслом — не выходит. Страх перед грядущими семинарами, зачетами, экзаменами принуждает меня запоминать все, что говорит эта голосистая, как бы сама себя изображающая женщина. До меня уже дошел слух, что она не проста: в молодости видела Маяковского на гастролях в Киеве, предложила ему себя! Поэт отказался, — объясняли поучительно, — нравственным был. Ха!

Входит пружинистым шагом подтянутый мужчина средних лет, уж очень плакатно подстриженный, одетый скромно и с достатком одновременно. Держится хозяином, знающим главную истину. Чернявый, с украинскими чертами лица, но говорит только на государственном русском, да так, что даже мне, украинскому крестьянину русско-чешского происхождения, видно, что коверкает язык немилосердно. Яков Павлович Токаренко преподает главный предмет во всех учебных заведениях: историю партии по И. Сталину.

Рассказывает о великих стройках коммунизма да с учетом вуза искусств иллюстрирует свои

выкладки творчески — поет.

— Вспомним песенку «Эй, Самара-городок, беспокойная я...» Не Самара это вам, — говорит напыщенно и с пугающей миной на лице. — Не Самара, а Куйбышев, и не просто городок, а город, где возвышается Куйбышевская ГЭС.

Отходит к дальней стенке, как бы для разбега, начинает следующий номер:

— Вы слышали песенку «Ой вы, гуси, до свиданья! Прилетайте к нам опять»? Гусей там уже нет. Там Волго-Донский канал! — с гордостью и силой подымает палец Яков Павлович и ликует.

Ни один артист не позволяет себе играть за пределами подмостков, а вертящиеся около искусства приживалы — постоянно. Я чувствую, что Токаренко глуп, начинаю его бояться. Такой поступит с человеком не по правде-совести, а так, как, по его представлениям, угодно властям.

— Я уверен, — продолжает он с придыханием, — уверен, что вы приобрели труд Иосифа Виссарионовича Сталина. Положите его настольной книгой. Главные мысли подчеркните синим карандашом, а самые главные — красным.

Для наглядности преподаватель поднимает свой экземпляр «Краткого курса», поворачивает к нам страницы. Они испещрены между строк и на полях красным грифелем. Листает дальше — вся книга красная.

Я понимаю, опус вождя придется заучивать на память, как псалтырь. Это не трудно, уж очень просты мысли и тон похожий на деревенскую брань. Противно, но я буду стараться, раз велят.

Входит искусствовед Никифор Анисимович, болезненный, с одышкой, всегда в темно-синем костюме и шарфе на углой шее. Только носки часто меняются, случается, на левой — серый, на правой — черный. Он ставит репродукции картин под стенку, опирает на кафедру у своих ног, держит перед своим лицом, что дает ему возможность прикрыться и сладко зевнуть. Рассказывает как бы спросонья, но интересно и забавно. Исподтишка замечает, что пока будет говорить о древнем и средневековом искусстве, будет интересно. Даже о начале века... А там, может быть, что-нибудь изменится...

Лука Григорьевич знаток украинской литературы, и не диво — помнит Нечуя-Левицкого, знаком с Остапом Вишней и Павлом Тычиной. Отбыл семнадцать лет в каторге за что-то и теперь не преминет случая прихвалить ныне здравствующее начальство, которое его выпустило. О знакомых мне по школе поэтах говорит, как о соседях по дому, без восторга, с уважением или морща лоб. Даже из Шевченко принимает не все.

— Человек мытарствовал по Питерам да Кос-Аралам, писал в захалывной книжке, а не в

рабочем кабинете, повторялся. А мы все собрали и выставляем на люди. И показываем повторы, слабости. Сам бы он отобрал, что печатать, а что и — в архив.

Украдкой упоминает Винниченко, Хвылевого, Драй-Хмару. Да так по-стариковски хитро, вроде бы невзначай, без характеристик, без позиции. Можно похвалить, а можно осудить, как будет угодно случаю.

Преподаватели сильно отличаются друг от друга, а вот пугают одним и тем же: на первый курс набрали нас несколько больше плана, если не будем стараться по их предмету, кое-кого отчислят. Я не понимаю, как можно не стараться, коль уж попал в столичный институт, дали койку в общежитии, даже стипендию обещают. На всякий случай взял себе за правило посещать все лекции, в конце почти каждой — задавать вопросы. Меня не убудет, а узнаю больше, главное же — меня заметят. Усмешки городских коллег парирую простецки: у вас свои библиотеки, вам есть у кого спросить дома, а я впервые слышу. Это льстит им и не настраивает против меня, хоть никто не сомневается: если дойдет до отчисления, то первым, даже перед тезкой Бондарчуком, полечу я.

Идут недели, месяцы, а я не улавливаю, чему же меня хотят научить. Портняжку наставляют кроить и сшивать, смазчика тракторист принуждает

заводить двигатель, иногда дает руль, позволяет менять свечи. Из учеников растут портные, механизаторы. Кого готовят из меня? Спросить боюсь, поймут, что этот крестьянин даже не ориентируется, куда попал, и выставят раньше времени. Рядом на актерском идут уроки мастерства.

Первокурсники в синагоге наперебой повторяют диковинные термины: мизансцена, сверхзадача, апарте, подтекст. Орут во весь голос — ми-мэ-ма! Не то по-русски, не то по-украински упражняются в дикции:

— Шли две бабы из базара, говорили про покупку, что покупка дорога, — да так стремительно и на разные голоса, что это само по себе захватывает, вызывает зависть.

Начинающих режиссеров водят в академические театры на репетиции, с ними работают признанные постановщики, народные да заслуженные. А мы, театроведы, как бы продолжаем школьную программу, даже не продолжаем, а повторяем, начиная с восьмого класса. И черт с ним, хоть тут прочту неп прочитанное, выпрошу то, что не смогли прояснить деревенские учителя.

На третий месяц пришел медлительный, лысеющий и чистый доцент, лицо и руки с подпаринами, словно только что из бани. Говорит

глухо, натужно. Бывший заведующий отделом ЦК партии, специалист по древнему украинскому искусству. Внимателен ко всем, но поворачивается прежде всего на украинское слово и владеет этим словом вызывающе точно. Доброхоты донесли, что из украинского ЦК его поперли именно за излишнюю преданность своей культуре. Звать Иван Алексеевич Волошин.

Новый доцент как ошибся при знакомстве, так и называет меня Вилавенко, то есть украинизировал меня и пустил к себе в душу. Я не возражаю — не было бы хуже — и выигрываю. Месяц спустя бывший начальник использовал свои связи с выгодой для всех, у кого украинская фамилия: Кучерюк, Бондарчук, Йосепенко. И Вилавенко. Он позвал нас в небольшой кабинетик для двух заведующих кафедрами, отгородился от соседа и вручил нам пропуска в читалку академической библиотеки. Я принялся читать то, что и не показывали студентам: Кулиша и Костомарова, Ницше и Шопенгауэра, Винниченко и Хвелевого. Два последние кажутся мне авангардными, писателями будущего. У Хвелевого речь патетическая, привычная для слуха, но коммунисты у него посовестливей, смахивают на людей. Попадались книжки, в которых не молились на Маркса, а пытались анализировать. Например, Франц Меринг... Смутно, приблизительно

нащупываю иное представление о нашем мире. И ужасаюсь: вдруг застанут за таким чтивом! Ведущим чувством у меня с детства был страх.

В годы эвакуации пугали немецкие бомбардировщики и черные кавказцы, не любившие беженцев. После войны, уже в Украине, старшие только и шептались, что об уводах по ночам совершенно невинных людей.

То аптекаря, то замполита из машинно-тракторной станции, где мой отец, перед войной и по возвращении с войны — без ноги — служил директором.

Подростки заразились беспокойством. Даже стали играть в застенки. Мне пришлось пережить страх, укоренившийся в душе навсегда.

Тринадцатилетний заводила с нашего околотка, Исак Лозинский, поставил меня на часах у лестницы, ведущей на чердак. Ушел и забыл. Я захотел по маленькому и покинул пост. Под вечер Исак вспомнил о «солдате», отыскал и пригрозил:

— Чтобы это было в последний раз. Шпионы кругом шляются, а ты!..

На другой день подростки уговорили соседскую девчурку показать им попу, увели в сарай, а меня, семилетнего, поставили «на шухере», взяв честное ленинское, что не сойду с места. Я тоже любопытный, улучив минуту, побежал в очередь у двери сарая: покажите и мне. В эту

минуту тетя Мэца с палкой в руке ринулась на толпу. Старшие выпрыгнули из окна, тетя погналась за племянником с воплем:

— Исак, тебе только и жить, пока я тебя не догоню!

Надругательство началось со следующего утра. Исак встал на моей дорожке к туалету и на горьком глазу заговорил:

— Шибздик, ты чего изменяешь Родине? Ай-яй-яй. Уже скоро восемь лет, да нет, полные восемь! Придется отвечать. Ночью за тобой придут.

Я онемел от ужаса. А дружок ловко нагнетал его:

— Я и рад бы помочь, да тут не моя воля... Нам вообще не надо встречаться, из-за тебя и мне каюк...

Откуда-то в мою голову втемяшилось, что державная сила — таинственна. Что коли она мытарит, следует молчать, — хуже будет. Я забился в дальний чулан, присел в уголок и прислушивался к миру через стены. Чешка бабка Катерина зашла за веником и выкурила меня:

— Жмурки затеяли? На двор!

Спать в своей кровати я не мог, власть легко найдет. Дождавшись, когда дом угомонился, я тишком прошел на кухню и залез под печь, под штандары, как говорила баба Катерина. Зарылся в семечки подсолнуха и задвинул заслонку. Черно,

пахнет пылью, зато надежно. Так и заснул.

Утром приспичило — выскочил черным ходом за стог. Стоит Исак, понурый, со сведенными скулами. Таращит глаза не без опаски:

— Шибздик? Ты на свободе?

Оба озираемся, чувствуем родственную приязнь друг к другу. Он ведет, я следую за ним, идем куда-то, хотя с места не двинулись. Он вздыхает, сочувственно и с надеждой:

— Знаешь, шибздик, тебя не взяли и не возьмут. — Позволив на кончике спички загореться надежде, заводила продолжил: — Как эти цыплячьи лапки защищать дверь? И раскаленную скобу некуда вогнать — жопа с мышиный глазок. Возьмут твоего отца.

Я вскидываюсь, хмыкаю: отца? танкового капитана, инвалида без ноги по самую ягодицу? директора и коммуниста?

— Полковников берут, — как бы слыша мои мысли, бормочет Исак. — Нет начальника без грешков. Да, твой не крадет. Да, твой с утра до ночи в поле... там и возьмут.

Я почти помешался. Ходил за отцом по пятам, дурковато хихикал на его редкое поглаживание по голове и советы сходить домой поесть. Я напрашивался с ним в поездку по тракторным бригадам. Бился и маялся, не зная, можно ли предупредить отца... Вечерами не ложился, пока не

помогал ему снять протез и помыть ногу. Готовился броситься на всякого, кто поднимет на него ружье. Бабушка и мама восхищались моей привязанностью к родителю. Вот, мол, растет смена, когда инвалид совсем не сможет ходить...

В детстве пугали меня и волками, и тем светом. Голод и войну я сам испытал. Те страхи прошли, они как-то случались, я видел их и понимал. А этот, «политический», как нутряная болезнь, его не видно, понять не дано, конца ему нет... Этот угнездился на всю жизнь.

Вместе со страхом ко мне пришло некое представление о мире, о той малости, что должна жить с людьми, и о том, что излишне, опасно. Скажем, мама, корова, лошадь, шлепок по заднице, хаты под соломой и черепицей, дерево, навоз, торф... и еще многое из того, что я застал на этом свете с первым проблеском сознания. Что признавал мой русский православный дед, бежавший от раскулачивания и изо всех сил старавшийся казаться ленивым, активным на слово, глуповатым, хотя ему это все давалось плохо. Дед учил меня осуждать траншеи в черноземе, содранный гумус ради добычи руды, сброшенный в реку шлак, дымящиеся машины, мусорник в чистом поле, высокие дома с тонкими стенами, теряющие тепло зимой... бояться неверующих, сквернословов, лентяев — от них все зло в мире.

Лишняя техника высвобождает людей для плохих раздумий, для шалостей, и город в том — большое подспорье...

...Я получаю стипендию. Не перестаю удивляться: приняли в институт, чуть ли не единственный на Украине, дали койку, ничего не принуждают делать!.. В центре Киева в нескольких столовых на столах дармовые хлеб, капуста, горчица, чай, то есть завтрак и полдник — бесплатный. Имена многих преподавателей встречаются на полосах газет, на афишах, в книгах... Даровано все такое и — еще стипендия, двести двадцать рубликов каждого двадцатого числа. Это же на тридцать обедов, пропитание!

Иду вечером в нашу синагогу, мну пачечку червонцев в кармане брюк.

Рядом Витя Щербаков, красивый парнишка с актерского. Вдруг из полутьмы в тусклую полоску фонаря выходят трое крепких молодых горожан. Средний поигрывает «опасной» бритвой «Труд ВАЧА», говорит почти стихами:

— Мальчики, до нас дошли слухи, что вы получили стипенду. Выгружайтесь, нам надо отдохнуть.

— Вы что? — слабо артачится Витя. — Мы будем драться!

— Попишу, — как-то окончательно заявляет самый крупный из бандитов.

Мой взлелеянный страх борется с обидой. Не было бы хуже, и — кого грабят эти подонки?!

— Драться не стоит, Витя, — говорю. — Им же это в привычку, даже не обидятся, если побьем. А нас попишут. Тебе лицо испортят, не сможешь сниматься в кино. А я боли боюсь. — Потом бандитам говорю: — Вы заразы! Работать не хотите! Студентов потрошите!! Натя, подавитесь, чтоб вы издохли!! — Боюсь истерики, слезы, как всегда, предают... А сам достаю деньги так, чтобы хоть один червонец остался на первый обед с первой стипендии. Горько до...

Вдруг — слоновий шаг из-за угла. Выходит своей редкостной походкой — сначала обе левые, потом обе правые конечности вперед — Миша Крамарь.

Выяснить и рассуждать он не умеет, слов не хватает. Приступает к делу. Самбо, бокса он не знает, орудий борьбы не имеет. Как привык на хуторе управляться с бычками, так и тут. В одну минуту, с некоторой, скорее, совещательной, нашей помощью вкидывает злодеев в двустворчатый подгнивший туалет на бревнах, защелкивает крючки извне и — опрокидывает вонючее сооружение дверями вниз. Крики изнутри, мат встают дыбом. Стук, в отверстиях что-то мельтешит: ноги и головы. Двор наполняется миазмами, из ближайших балконов свешиваются

любопытные старухи. Миша замедленно стряхивает пыль с ладоней и бубнит:

— Рыблята, вы идите, а я постою, шоб их никто не выровнял.

...В который раз повторяется сладкий сон. Посеревшие камыши, кое-где обозначенная заводями Бакшала. Ковер из пытящей пыли вместо проселка. Неизменный борщ со скварками. Тесная кухня, из печи аромат соломы с примесью полыни и кизяка. Мамин говорок с едва заметными следами чужого акцента. Высокая, в отцовской линиялой рубаше и жилете, она управляется с котлами для свиньи, со сковородкой для нас. Любит песни и прибаутки в собственном исполнении. Выхожу на дождь — она вдогонку:

— Накинь плащ, — и без запинки добавляет из песни: — «Возьми гитару под полу!»

Отправляет отец технику в поле, заходит на обед — мать подает борщ и напевно спрашивает:

— Ну что, ушли кони стальные, боевые друзья-трактора?

В Чехии она не закончила первый класс, на Украине не доходила во второй: пришла революция, деда, ученого-овцевода, мордовали, изгнали на хутор, забрали, уморили. Теперь мадам директорша не может похвастать образованием. Песен же знает больше десяти филологов и поет их коровке Марте и кабанчику Сашке, курочкам, детям

и сама себе.

Скучаю по Райке. Не по нежным словам — она стыдилась говорить, не по письмам — страшась ошибок, она не пишет, — а по самой грубой близости, которую познал с ней год назад и не прерывал до отъезда.

Много не хватает, однако о возвращении в село не может быть и речи. Земляки пальцами затыкают неудачника, да и я сам уже вкусил столицы. Тоскую, объясняя себе тоску, как потребность души. Глушу ее не водкой — денег и смелости не хватает, не куревом — как вбила в четвертом классе мама мне в рот горящую сигарку, так и отвратило. Прячусь от тоски в учебники и конспекты, в театральные залы, куда студентов театрального пускают бесплатно. Зачеты сдаю досрочно, записи веду старательно, чтобы мой неустойчивый почерк не злил преподавателей. Такое занятие похоже на забаву. Я даже боюсь, что власти одумаются и снова погонят меня к «чепигам» за плуг, к «лобогрейке» смахивать траву, к двухтонке ломать спину под мешками. Дедушка объяснял, что труд имеет смысл, когда работаешь на себя. А на чужого дядю!? Полтора года назад, после девятого класса, я в этом убедился. Два месяца возил зерно с поля на ток и с тока на станцию, по десять-двенадцать часов в сутки. Заработок получил в декабре, и весь полумешок

пшеницы уместился на моих тощих плечах. Я донес его без отдыха от «коморы до двору». Если бы я не укладывал события в слова, я не огорчился бы так чувствительно. Но мне Бог дал свойство: все называть по имени. А в Святом Писании сказано: во всякую вещь лучше вникнешь, коли правдиво наречешь ее.

Перед зимней сессией приятели писали шпаргалки, предлагали мне вступить в долю. Страх оградил меня от греха. Сходил во Владимирский собор, с оглядкой помолился. Шел на экзамен с полным незнанием предмета, а вытащил билет аккуратно с теми вопросами, которые знал. Отвечал подробно, тянул время, чтобы не хватило на дополнительные. Их все же задали. И снова именно те, в которых я разбирался. Господи, благодарю тебя! Ты дал мне такую голову, в которой знания не лежат на тарелочке, а приходят по необходимости. Слава тебе!

Два экзамена сдал на «отлично». Третий через три дня. Лежу на койке в синагоге и боюсь взяться за книгу — «Введение в литературоведение». А вдруг зацеплюсь за книжные выкладки, что-то сегодня-завтра прочту, а улетит то, что отложилось в течение полугода, что опосредованно копилось издавна?

Поскрипывая протезом, опираясь на палочку, входит седой мужчина лет сорока пяти.

Потускневший коричневый костюм, нелепым узлом — галстук, в руках бухгалтерский портфель. Лицо близко знакомое: низкие брови с задубелыми волосками, тонкий прямой нос, узкая щелка рта.

Печать усталости и смирения на лице. Отец! Каким чудом в общаге, за тридевять земель от Мариновки возникает мой Андрей Семенович?

— С приездом! В гости? — Тушуюсь. Хотелось бы предстать в лучшем виде.

— И в гости, и в ЦэКа. — Сказано без обычного сдержанного гонора.

Я хочу польстить отцу, вспоминаю, что он до войны, еще комбайнером, на двух ногах, получил орден Ленина, в войну, командуя танковой ротой, был награжден тремя орденами и медалями, а год назад привез из того же ЦэКа «Знак почета».

— За очередным орденом?

— Хуже...

В дешевом ресторанчике, за пивом, он, скрывая наболевшее, рассуждает о том, что приходит новое время, нужны руководители образованные. Он добровольно просится в тракторную бригаду, откуда в тридцать девятом был переведен в директоры. Я согласно киваю, а сам уже дорастаю до понимания: прислали из области человека с дипломом, более подходящего новым властям, отца убирают. Хорошо поставленная работа в проклятых полудиких

степях, опыт, уважение механизаторов — все это не в счет. Наливаю еще пива. Осунувшееся лицо, молчание отца наводит на мысль, что беда к нему пришла не в одиночку.

Позже узнаю: мама моя странно болеет. Позже вычитываю — климакс, ранний, злой. Она поедом ест своего мужа за какие-то давние грешки, о которых он забыл, да и она подозревала с чужого голоса. Самым существенным в ее обиде было не то, что он намеревался изменить супруге, а то, что он унижал себя и свою семью неблагоприятными намереньями. Слишком тонко для малограмотной крестьянки. Может быть, в пору для гонористой чешки? Мама постоянно плачет, не ест, никого не хочет видеть, прячется, даже в заброшенный колодец за селом. Отцу это доставляет тяжкие страдания. Трудно поверить, но я вижу слезу в узкой щелке его глаза, даже отворачиваюсь. На кого же опираться, если уж этот трудяга и боец плачет?

Я смягчаю его горе: и последний экзамен выдерживаю на «отлично» и вместе с ним еду на каникулы. Я люблю дальние поездки. Тринадцать лет назад с обозом и гуртом скота эвакуировался. В течение трех месяцев кочевал в телеге, пешком за последней буренкой в клубах пыли. В голодный сорок седьмой год ездил в Одессу с мешками картошки. Теперь вот удобное купе с отцом и

третьим пассажиром, говорливым, оснащенным бутылками с крепким напитком. Я даже рад, что непьющий отец принял одну-вторую чарку: все отвлечется от грустных дум. Лежа на верхней полке, вспоминаю возвращение с Кавказа в сорок четвертом. Телячий вагон с порушенной дверью, прилечь негде из-за тетей и дедушек, детей и узлов. Писаем в кувшинчик, выплескиваем на ходу, брызги возвращаются через ту же дыру. Поезд то тормозит, то вдруг срывается с места. В проеме двери стоит невысокий, хорошего сложения морячок в новой форменке. Пододвигает к малышам рюкзак, достает две банки мясных консервов с красивыми наклейками и надписью «Свиная тувонка». Наверное, у американцев нет буквы «Ш», вот они и заменили ее на «В».

— Угощайтесь, салаги! — ласково командует морячок. — Только не пугайтесь, когда я от рывка паровоза буду падать без чувств. Я тут же приду в себя. Осколки в груди...

— А куда же вы? Демобилизуетесь?

— Да нет. На фронт. На Дунай.

Мама с уважением и поучительно для нас говорит:

— Вот это советский человек! Пока не добьет врага... с осколками...

Морячок как-то криво усмехается:

— Не так все это, дорогая. На фронте

привычно: тут командир, а там враг. Одно дело — войной. Кормят, одевают и работать не силуют. А в тылу что? Бардак в колхозе, паразиты в городе. Не угадаешь, кому служить и кого бояться.

Морячок приходит на память не случайно. Третий пассажир, свесив брюхо, дыша перегаром, развивает трезвую мысль об отставке отца:

— Вы думаете, они о нас беспокоятся? Да плевать им с церковной колокольни на воина. Дали вторую группу инвалидности и каждый год вызывают на перекомиссию, вроде у вас новая ножка отрастет. И денег-то отвалили на неделю сухомятки. А бахвалятся: о воинах заботимся! Да еслибы им не надо было приваживать молодежь помирать за них, они и того бы вам не дали... Скоты!

Отец не обрывает разнуздавшегося болтуна. И я как-то исподволь ставлю рядом слова морячка о неведении, кому служить, и вот эти выкрики: они и того бы вам не дали! Кто они, эти скоты? Чем пахнет такой выпад? Перегибаюсь, чтобы разглядеть недавнего директора, отныне, кажется, снова бригадира, только безногого. Щеки горят, на губе папираса. Он ведь не курит, не терпит антисоветчины. А вот слушает, потирает стаканчик в ладонях, перекачивает. Дым поднимается, пахнет сухим пометом, постукивают колеса на стыках, куда-то увозят, что-то меняется.